

Не бойся и не проси

Новые Известия — 2002 — 24 апр — с. 7.

**Дмитрий СМОЛЕВ,
для «Новых Известий»**

— Нынешняя выставка, конечно, не первая персональная. Но почему здесь, почему с «болгарским акцентом»?

— До этого я показывал выставку из «Русского цикла» в Музее Сидура, есть и «Итальянский цикл». А недавно жена в Интернете нашла информацию про болгарский город Созопол, основанный еще древними греками. Там до сих пор проводится фестиваль искусств, посвященный Аполлону, чью статую завоеватели-римляне вывезли когда-то в метрополию. Место нас очень заинтересовало, и мы отправились туда по туристической путевке. Перед отъездом директор Болгарского центра в Москве пообещал: привезете какие-нибудь работы — устроим выставку. Я действительно сделал серию акварелей, а по возвращении написал несколько холстов. Однако включил в экспозицию свои вещи разных лет, не только болгарские пейзажи. Тянет на ретроспекцию.

— Пейзажи, портреты, натюрморты... Вы приверженец традиционных жанров, причем камерных?

— Вы говорите о камерности моих работ... Согласен и не согласен. Ищу все же такие мотивы, которые говорят о вечности природы. И потом, я не так уж традиционен в подходе к живописи. Иногда думаю, что мои работы — просто этюды, а я этюдов не пишу больше двадцати лет...

— То есть с натуры давно не работаете?

— Давно. К этому решению пришел опытным путем. Когда-то заметил, что мои натурные вещи сопровождаются неожиданными трансформациями: смещаются планы, возникают прочие эффекты, не совместимые с пленэром. По размышлению сделал вывод: живопись — явление двуединое, она несет в себе как изобразительное начало, так и музыкальное, цветопластическое. Эти начала борются между собой, а я борюсь за то, чтобы возник их сплав. Свой метод называю «живописью предельных состояний» — когда под кистью уже не натура, но еще не абстракция.

— Собственный метод — результат опыта. А ведь вы стали художником довольно поздно...

— Действительно, судьба моя складывалась непросто. Воспитываясь в детском доме, я был лишен многих представлений и перспектив. Получил специальность инженера-гидротехника, коним и проработал больше десяти лет. Возвратясь в Москву, начал заниматься самообразованием, ходил в музеи. Был совершенно темный и неразвитый, но и сейчас помню, насколько поразила меня Альбер Марке. Ведь у него в картинах ни одну точку нельзя сместить без того, чтобы не рушилось целое. Оказалось, что искусство — это не примитивное срисовывание... Я поступил в Заочный народный университет имени Крупской, потом почувствовал, что надо двигаться дальше. Случайно узнал, что в Строгановке есть отделение, где из художников и инженеров делают полноценных дизайнеров.

Он стал художником то ли вопреки судьбе, то ли благодаря ее непрерывным нахлестываниям. Юрий ЛАРИН этого точно не знает, но в своем давнишнем выборе уверен. И всякий разговор склонен переводить в профессиональную плоскость, потому что здесь он перестает быть сыном расстрелянного большевика Николая Бухарина и оказывается самодостаточной фигурой. Причем фигурой весьма уважаемой среди ценителей живописи. Для интервью мы встретились на его персональной выставке в Болгарском культурном центре. Юрий Николаевич был довольно словоохотлив, но ритмически повторял: «Впрочем, не думаю, что это важно в разговоре об искусстве...» Надеясь, беседа вышла именно об искусстве — с некоторыми отступлениями от темы, позволяющими почувствовать особенности XX века.



Сдал экзамены и учился с неопытным наслаждением. Например, там бывший профессор ВХУТЕМАСа Ламцов преподавал архитектонике, еще недавно запрещенную. Строгость дизайнерского подхода помогла развить чувство композиции. По окончании Строгановки я лет пятнадцать преподавал рисунок в Училище памяти 1905 года.

— Тяга к искусству — генетическая? Известно ведь, что ваш отец увлекался живописью...

— Может быть, и гены. Я видел живописные работы Николая Ивановича. Он обладал хорошим колористическим видением, даже в выставках участвовал. Но все же оставался художником-любителем, не пытаясь перешагнуть профессиональную грань. Мог совмещать поездку на этюды с охотой или рыбалкой... Однажды я прочел высказывания отца о Петрове-Водкине и убедился в его глубоком понимании сущности искусства.

— Происхождение влияло на вашу биографию?

своей настоящей мамой. Она вышла замуж, кстати, за бывшего зэка, у нее возникла другая семья. Я же по возвращении в Москву начал искать собственный путь.

— Без всякого внимания со стороны компетентных органов?

— Скорее всего, внимание было, но я его не ощущал. Хотя постоянно чувствовал свое отличие от других. Это возникло в детстве и осталось надолго...

— Другими словами, удаленность от советского художественного истеблишмента и соответствующих кормушек — ваш осознанный выбор, а не результат специальных препон?

— У меня никогда не было никаких заказов, я всегда делал то, что хотел. Даже участвуя во всесоюзных акварельных выставках, не рассматривал их как возможность для карьеры. Для меня живопись — психотерапия. Хотя вот года три назад получил диплом Академии художеств... Оглядываясь назад, не вижу поводов на кого-нибудь злиться.

— Когда вы начинали, не прощались и намека на то, что живопись — занятие консервативное, даже архаичное. Сейчас это звучит беспрестанно. Модные веяния вам не указ?

— По-моему, перекладываются на инсталляцию и фотографию те живописцы, которые не выработали собственного творческого метода. У меня он давно сложился, потому и не комплекую. Мне нравится, как я работаю, вне зависимости от коммерческого успеха. Надеюсь, не только мне самому.

— Видел у вас и портрет Наума Коржавина... Музыканты, литераторы, политологи — ваш обычный круг общения, или тяготеете к собратям по цеху?

— С художниками — да, но в течение жизни круг общения менялся. Был один период, довольно оригинальный... В 1973 году я услышал, что молодой американский профессор Стивен Коэн написал книгу о моем отце, очень доброжелательную. Вскоре книга попала мне в руки, и я загорелся идеей перевода, хотя английского языка практически не знал. Тогда мне очень помог человек, оказавший на меня огромное духовное влияние, — Евгений Александрович Гнедин. Он до того работал в «Новом мире» у Твардовского, а много раньше — в «Известиях», еще когда редактором был Николай Бухарин. Раз в неделю я приходил к Гнедину с черновиками перевода, которые он корректировал — и так четыре года. Сначала книга на русском языке вышла в «тамиздате», у нас появилась в начале перестройки. Теперь самому удивительно вспоминать, ведь буквально каждое слово искал в словаре. Английского до сих пор не знаю... В хороших отношениях был и с другом Гнедина, замечательным историком Михаилом Гефтером, другими людьми их круга. Это была как раз внехудожественная линия общения, но, полагаю, они ценили меня как художника.

— А сегодня устраивает ли вас отношение зрителей? Каким ощущаете собственный статус?

— Никогда не думал о статусе, просто занимался живописью.

— Учреждение, где я воспитывался, называлось Средне-Ахтубинский спецдетдом. Никого, кто бы там оказался из-за репрессий в отношении родителей, я не знаю. В основном это были дети погибших под Сталинградом. Да, я ведь попал в детский дом не сразу после ареста отца и матери. Тогда мне исполнилось всего два года. Родителями поначалу считал совсем других людей, маминых родственников, но их тоже арестовали, в 1946-м, и уже после этого я попал на казенное обеспечение... Должен заметить, воспитателями были замечательные люди, многие с хорошей культурой. Сейчас полагаются говорить о варварстве, дикости, издевательствах, но было не так. Не стану называть имен: они сами, кто жив, или их дети поймут, о ком тепло отзываюсь. Единственная проблема — образование... Долго не мог понять, чем же все-таки должен заниматься в жизни.

После XX съезда, после волны реабилитаций, познакомился со